

**Андрей ГЕВОРГЯН:**

Бес. клуб. — 1997. — 25 руб. —

с. 7.

# МУЗЫКА

# спускается ко мне с холстов

Те, кто хоть однажды слышал музыку композитора Андрея Геворгяна, без всяких колебаний подтвердят, что среди нас живет еще один непризнанный гений. Впрочем, знакомые с его поразительным творчеством не сомневаются, что рано или поздно Андрей заворочит мир.

— Я знаю, ребенок ты поступил в класс фортепиано. Но я то увидел тебя уже совсем другим “вундеркиндом”. В кафе “Аэлита” в компании известных джазменов пятнадцатилетний мальчик играл на контрабасе.

— Превратности судьбы. В пятом классе педагоги “Мерзляковки” убедили меня взять в руки контрабас — мол, так легко будет поступить в консерваторию. Рояль, конечно, остался любимым. Однако, не будь контрабаса, я бы не вошел в мир джаза, который до сих пор “обжигает” некоторые мои партитуры. Кроме того, именно джаз ввел меня в мир художников еще в той самой “Аэлите”.

— “Аэлита”... Молодые, наверное, ничего не знают об этом легендарном кафе. В “Аэлите” не водилось спиртного. Здесь подавали вкусную дешевую еду, черный кофе, независимых художников и джаз. Кафе закрыли в 1962-м, сразу после знаменитого “кровоизлияния в МОСХ” (так окрестили хрущевское побоище художников в Манеже).

— Почти все художники, ставшие со временем звездами, ходили к нам в “Аэлиту”. Даже Илья Глазунов. И уж само собой, Эрнст Неизвестный, Юра Соболев, Володя Янкилевский, Володя Пятницкий, Миша Шемякин... Порвав с академическими канонами, они предпочитали и нестандартную музыку. Позже, когда я уже сошелся с ними, они говорили, что эта музыка влияла на композиции, конструкции, цветовые решения их картин. В то же время многие формулировки наших музыкальных вещей шли прямо с их холстов.

— Про многих художников-шестидесятников сегодня можно сказать словами поэта: “Иных уж нет, а те далече”. Но, как я понимаю, их жизнь — это часть твоей судьбы?

— Представь себе яростных молодых людей с мольбертами, уже вступивших на путь отверженности, среди которых вертится радостный мальчик с контрабасом. Впрочем, я не ощу-

щал разницы в возрасте, даже с самым “старым” — Эрнстом Неизвестным, на полном серьезе рассуждавшим со мной на весьма туманную для меня тему — “излучение от камня”. Страшно привлекала суперинтеллигентность Володи Янкилевского — тончайшего концептуала, того самого, картины которого на выставке в Манеже Хрущев обругал матом. Энциклопедист Юра Соболев блестяще опровергал всякие теории искусства, утверждая творческий субъективизм. А молчаливый и взрывной Миша Шемякин в то время сходил с ума по гоголевской “Шинели”...

— И свел с ума тебя? Не эта ли графика явилась образом для твоей странной симфонической поэмы “Гоголь”?

— Эту поэму я написал гораздо позже. Но, наверное, именно тогда — через шемякинские работы — и возник ее главный мотив: смерть как желанное Гоголем избавление от этого мира. До меня многое вообще дошло позже: и значение той художественной среды, в которую я попал милостью Божьей; и музыка картин, которая звучала в мастерских; и осмысление своей музыкой этой живописи; и даже то, что, казалось бы, просилось в руки — самому взять кисть.

— А как это случилось?

— Сидел на даче под деревом за партитурой концерта. На партитурой села стрекоза. Жена сказала: “Смотри, стрекоза пишет музыку”. Вдруг кто-то из меня ответил: “Так пусть она ее и пишет. А я пойду рисовать!” Достал кисти, бумагу, гуашь и начался какой-то сумасшедший запой: несколько дней подряд, запершись в сарае, упивался красками. А выйдя на волю, заново переписал весь концерт! С тех пор такие “запои” буквально преследуют меня.

— И помогают выражать себя в музыке?

— В том-то и дело. Время от времени хочется передать в звуке. Мои картины — это по сути нотные сигналы, своего

рода рывки в сторону звуковой истины. Неизъяснимая гармония красок создает то волновое напряжение, которого мне подчас так недостает.

— А как удается это перенести в музыку?

— Кажется, удается. Как? Не знаю... Пока ясно одно: картины художников, их цветовое движение влияют на мои звуковые ощущения. А своя живопись помогает выразить эти ощущения до конца. Как-то на редкой, кулуарной выставке Анатолия Зверева, где я не играл за отсутствием рояля, Зверев внезапно подошел ко мне и без всяких предисловий потребовал мой адрес. А утром

на рассвете приехал в измочаленной куртке, с авоськой, прошел на кухню, выпил полстакана водки и предложил: “Поставь свою музыку. Буду тебя рисовать”.

— А помнишь, как ты “рисовал” с Владимиром Афонским?

— Ну это было не раз. Сначала на выставках. Потом давали концерты.

— Извини, я прерву тебя и расскажу читателям об одном таком концерте. В правом углу авансены сидел ты, в левом, у подрамника, стоял Афонский. Услышав первые аккорды, поднял кисть. Музыка сначала была неторопливой, и словно ей в такт худож-

ник медленно клал первые мазки. Потом явилась мелодия. И тут же на холсте, прорвав хмурые облака, вспыхнуло солнце...

Недавно ты написал симфоническую трагедию “Марк Шагал” в двух аранжировках: для скрипок и труб. Скажи, почему после стольких встреч с живыми мастерами — вдруг Шагал? И почему — трагедия? Ведь в его произведениях столько жизни!

— Я играю Шагала давно, с тех пор как увидел его “Скрипача”. Что касается жанра... Я играю трагедию творческого сознания, которая, на мой взгляд, всегда — жизнеутверждение. Отчего

гибли древние цивилизации, рушились мировые сверхдержавы? Они переставали ощущать трагедию жизни — и разлетались в пух и прах. Великих же творцов всегда отличало ощущение трагичности бытия: вот почему империи исчезают, а художники продолжают жить.

— Мне кажется, что “Витебские скитания Шагала” — концерт для четырех труб будет очень трудным для исполнения.

— Да, наверное. Но я не собираюсь никому облегчать задачу. Марк Шагал тоже писал простые картины.

Встречался Леонид ЛЕРНЕР.

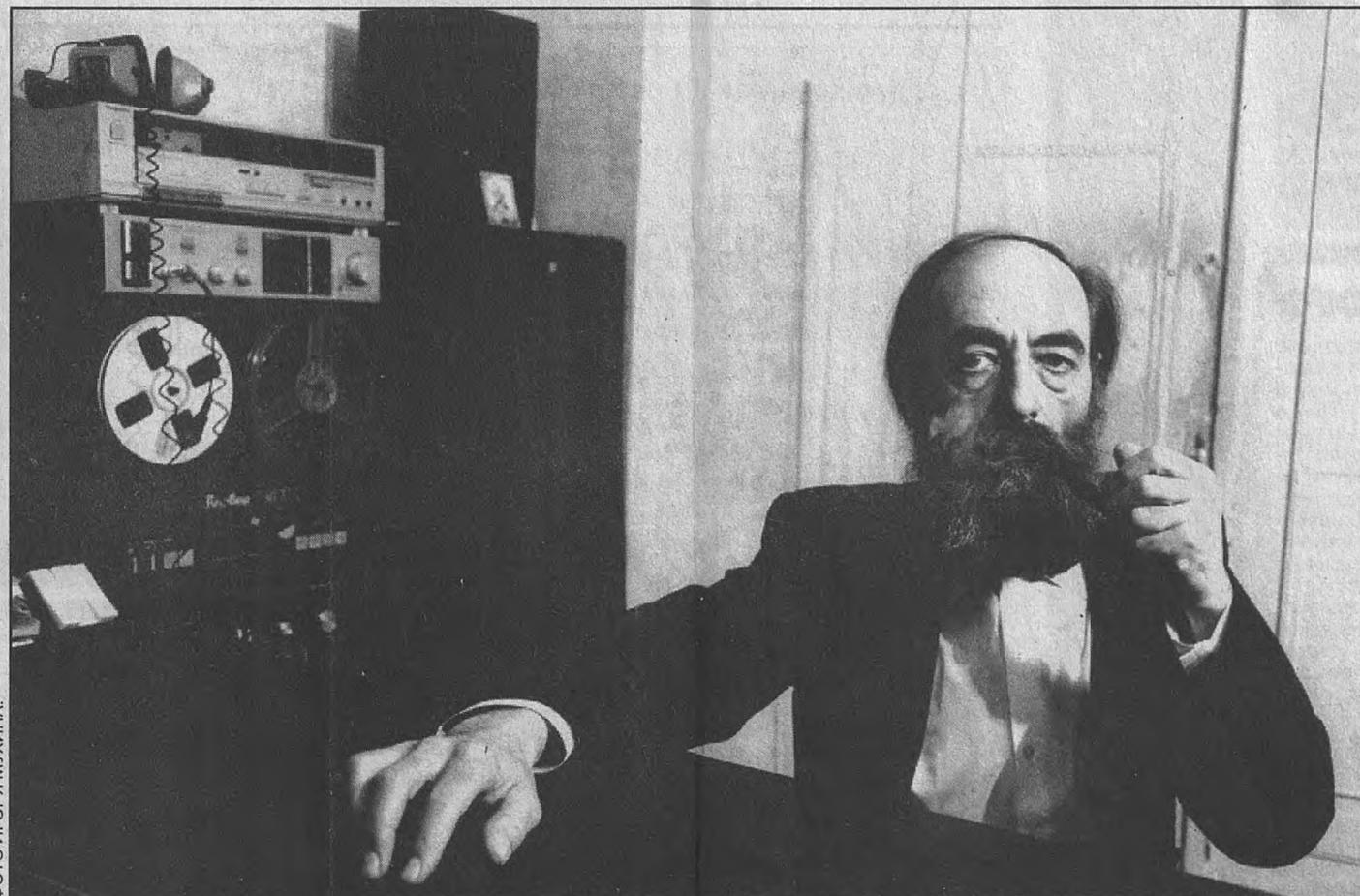


ФОТО ИГОРЯ МУХИНА.